ФИЛОСОФСКИЙ ПОЕДИНОК

ПЬЕР-ЖОЗЕФ

ПРУДОН

СОБСТВЕННОСТЬ – ЭТО КРАЖА!



КОММУНИЗМ ИЛИ АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ?

ЛУИ-ОГЮСТ

БЛАНКИ

ФИЛОСОФСКИЙ ПОЕДИНОК

Философский поединок

Пьер Прудон

Собственность – это кража! Коммунизм или ассоциация производителей?

«Алисторус»

УДК 329.055.4
ББК 63.3(4Фра)5

Прудон П. Ж.

Собственность – это кража! Коммунизм или ассоциация производителей? / П. Ж. Прудон — «Алисторус», — (Философский поединок)

ISBN 978-5-00269-309-2

Пьер-Жозеф Прудон и Луи-Огюст Бланки - два главных идеолога левых во Франции XIX века. Прудон - «отец анархизма», всю жизнь мечтавший стать диктатором, незадолго до Парижской коммуны «доказавший», что революций в мире больше не будет. Воплощение умеренности и осторожности, анархию он видел как «ассоциацию производителей» (союз бизнесменов и рабочих). Бланки - главный карбонарий Франции, участник вооруженных восстаний. Он отказывался от экономического детерминизма и критиковал теоретичность революционной мысли своего времени, полагая, что надо не строить абстрактные теории, а действовать в конкретных обстоятельствах. Позднее его идеи оказали огромное влияние на Ленина и антиколониальную мысль XX века. Работы Луи-Огюста Бланки переиздаются на русском языке впервые с 1952 года. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 329.055.4
ББК 63.3(4Фра)5

ISBN 978-5-00269-309-2

© Прудон П. Ж.
© Алисторус

Содержание

Пьер-Жозеф Прудон 6
Предисловие 6
Глава I 15
Конец ознакомительного фрагмента. 28

Луи-Огюст Бланки, Пьер Жозеф Прудон Собственность – это кража! Коммунизм или ассоциация производителей?

ФИЛОСОФСКИЙ ПОЕДИНОК

Серия «Философский поединок»

Перевод с французского Катайцева Э. С., Нигматулин М. В.

издательство РОДИНА

© Прудон П.-Ж., 2026.
© Бланки Л.-О., 2026.
© Катайцева Э. С., перевод, 2026.
© Нигматулин М. В., перевод., 2026.
© ООО «Издательство Родина», 2026.

Пьер-Жозеф Прудон
Что такое «собственность»? или
Исследование о принципе права и власти

Предисловие

Приводимое ниже письмо служило предисловием к первому изданию настоящего сочинения.

«Господам членам Безансонской академии

Париж, 30 июня 1840 года

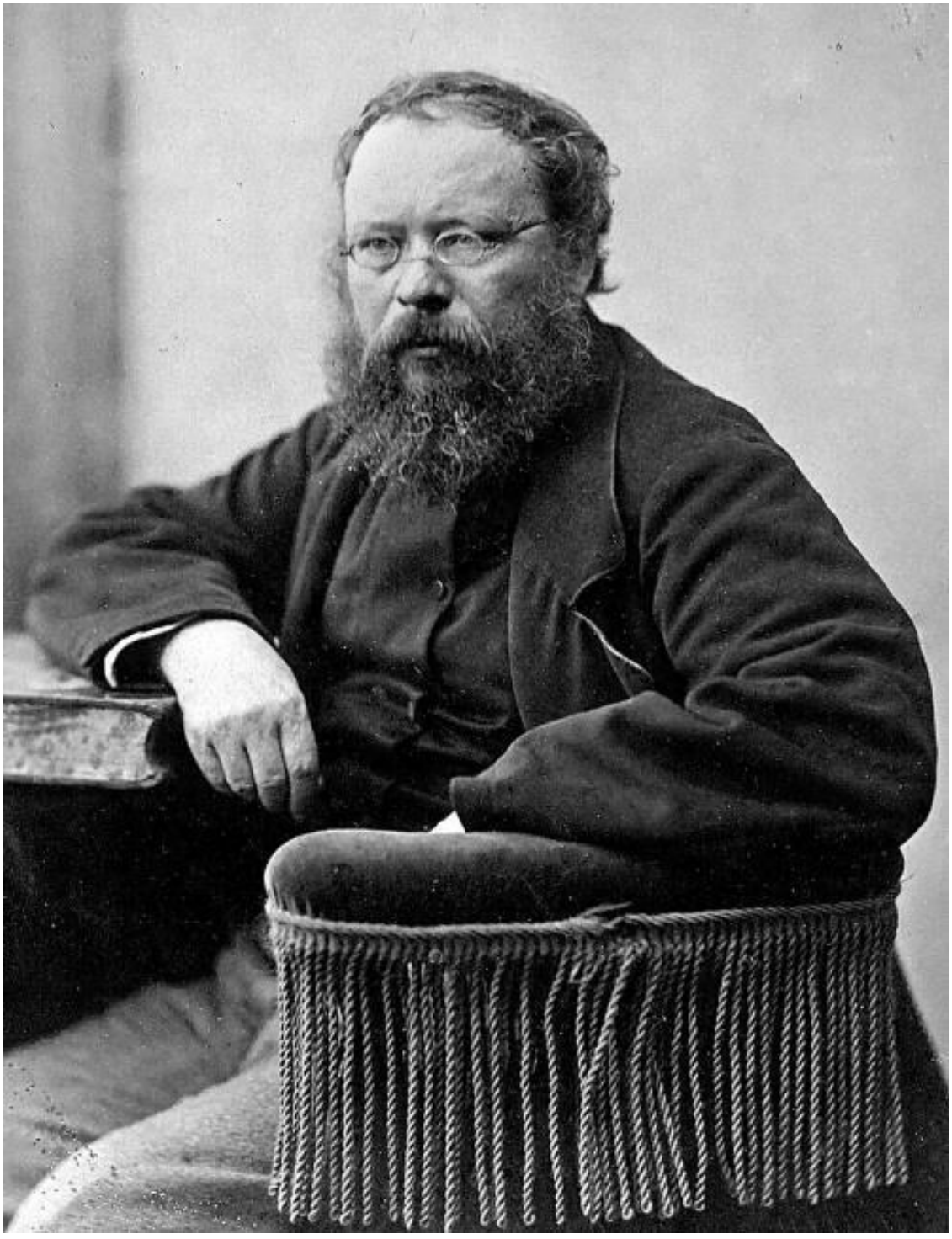
Милостивые государи!

В вашем постановлении от 9 мая 1833 года, касающемся стипендии, учрежденной г-жой Сюар, вы высказали следующее пожелание:

„Академия приглашает стипендиата доставлять ей ежегодно, в те– чение первых двух недель июля месяца, краткий, обстоятельный отчет о своих научных занятиях в течение предыдущего года“.

Я исполняю этот долг, милостивые государи.

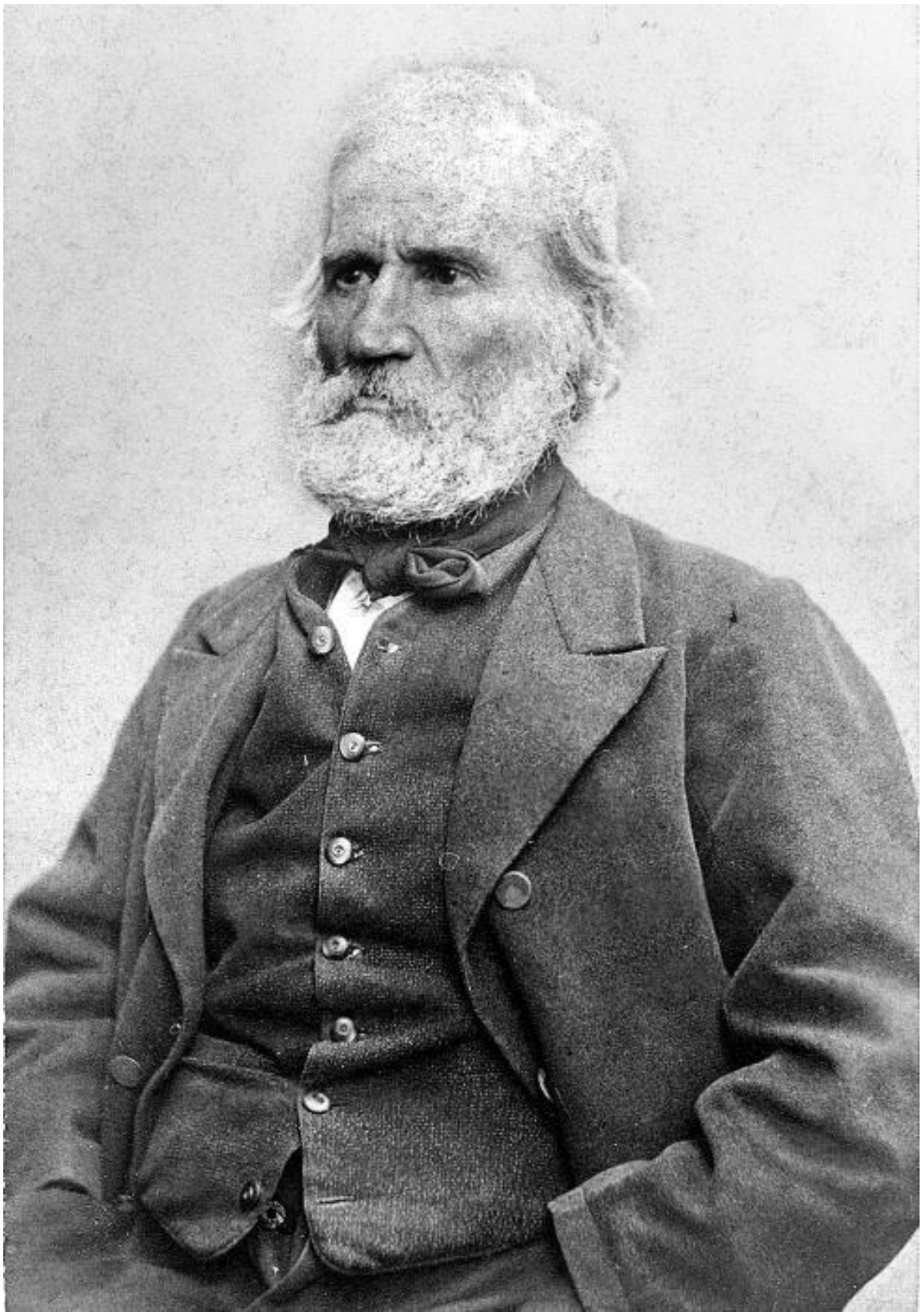
Когда я ходатайствовал о вашем согласии на стипендию, я открыто заявил о своем намерении направить все свои усилия на изыскание средств *для улучшения физических, нравственных и интеллектуальных условий существования наиболее многочисленного и беднейшего класса населения*. Эта мысль, несмотря на то что она не имела отношения к моей кандидатуре на стипендию, была принята вами благосклонно. Благодаря высокой чести, которую вам угодно было оказать мне, это обещание превратилось для меня в священнейший и ненарушимый долг. Я понял тогда, с какими достойными и благородными людьми я имею дело: мое уважение к их просвещенности, признательность за их благодеяния, мое рвение прославить их были беспредельны.



Пьер-Жозеф Прудон

Будучи убежден, что избавиться от общепринятых избитых взглядов и систем можно, только внеся в изучение человека и общества научные приемы и точный метод, я посвятил год изучению филологии и грамматики. Из всех наук лингвистика, или естественная история слова, наиболее соответствовала складу моего ума, и мне казалось, что она также наиболее соответствует исследованиям, которые я намеревался предпринять. Написанный именно в это время труд по поводу одного из наиболее интересных вопросов сравнительной грамматики, если и не имел блестящего успеха, то по крайней мере свидетельствовал о серьезности моих занятий.

С тех пор я занялся исключительно метафизикой и моралью. Мои усилия были вознаграждены вынесенным мною опытом, что эти науки, предмет которых не установлен точно и которые вообще еще недостаточно определены, подобно естественным наукам, доступны доказательствам и точности.



Луи-Огюст Бланки

Однако, милостивые государи, из всех своих учителей я больше всего обязан вам; ваша помощь, ваши программы, ваши указания, соответствовавшие моим сокровенным желаниям и наиболее дорогим моим надеждам, непрестанно помогали мне и указывали дорогу. Настоящее сочинение о собственности есть плод ваших идей.

В 1838 году Безансонская академия поставила следующий вопрос: *Каким причинам следует приписать постоянно увеличивающееся число самоубийств и какими средствами можно предупредить последствия этой нравственной заразы?*

В более общей форме вопрос этот можно выразить так: каковы причины социальных зол и каковы средства их исцеления? Что это так, вы, милостивые государи, признали сами, когда ваша комиссия заявила, что участники конкурса полностью перечислили непосредственные и частные причины самоубийств, так же как и средства предупреждения каждого из них, но что из этих написанных с большим или меньшим талантом перечислений нельзя сделать никакого положительного вывода ни относительно первоначальной общей причины зла, ни относительно средств для его исцеления.

В 1839 году ваша программа, всегда интересная и разнообразная по своей внешней форме, сделалась более определенной. Конкурс 1838 года в качестве причин или, лучше сказать, диагностических признаков социального зла выставил забвение религиозных и нравственных принципов, стремление к богатству, жажду наслаждений, политические страсти. Все эти данные были сведены вами в одно-единственное предложение: *о пользе празднования воскресенья с точки зрения гигиены, нравственности, семейных и гражданских отношений*.

Выражаясь на христианском языке, вы, милостивые государи, спрашивали, каков истинный общественный строй? Один из участников конкурса осмелился утверждать, полагая, что он в достаточной мере доказал это, что установление еженедельного отдыха неразрывно связано с политической системой, основанной на равенстве, что без равенства это учреждение будет невозможной аномалией, что только равенство может повести к новому расцвету древнего мистического обычая праздновать седьмой день.

Это сочинение не удостоилось вашего одобрения, так как вы, милостивые государи, не отрицая связи, отмеченной участником конкурса, справедливо полагали, что раз самый принцип равенства не доказан, то идеи автора не выходят из области гипотез.

Этот основной принцип равенства вы, милостивые государи, сделали темой конкурса в следующей формулировке: *об экономических и нравственных последствиях, какие до сих пор вызывал во Франции и, по-видимому, должен вызвать в ней в будущем закон о равном разделе имущества между детьми*.

Оставляя в стороне общую неопределенную формулировку, ваше предложение, кажется мне, надо понимать следующим образом:

Если закон мог сделать право наследования равным для всех детей одного отца, то не может ли он сделать его равным для всех его внуков и правнуков?

Если закон не признает больше младших в семье, то не может ли он, посредством права наследования, также уничтожить старшинство в роду, племени и нации?

Может ли быть сохранено равенство при помощи права наследования среди граждан, так же как и среди братьев и двоюродных братьев? Словом, может ли принцип наследования сделаться принципом равенства?

Резюмирую все сказанное выше в общей формулировке: что такое принцип наследования? На чем основывается неравенство? Что такое собственность?

Таков, милостивые государи, предмет сочинения, которое я вам теперь посылаю.

Если я хорошо понял вашу мысль, если я осветил непреложную истину, остававшуюся долгое время непознанной по причинам, которые я, осмеливаюсь это сказать, теперь выяснил, если при помощи непогрешимого метода исследования я установил догмат равенства условий, если я определил принцип гражданского права, сущность справедливости и общественный

строй, если, наконец, я навсегда разрушил собственность, то вся заслуга этого принадлежит вам, милостивые государи; я обязан всем этим вашей помощи и вашему вдохновению.

Идеей этого труда является приложение известного метода к проблемам философии. Всякое иное намерение мне чуждо, и приписать его мне – значит оскорбить меня.

Я не особенно почтительно выражался о юриспруденции; я имел право относиться к ней так, но было бы несправедливостью с моей стороны, если бы я не отделял от этой якобы науки людей, культивирующих ее. Посвятив себя тяжелым и суровым трудам, во всех отношениях достойные уважения своих сограждан благодаря своим знаниям и красноречию, наши юристы заслужили только один упрек: они чересчур почтительно относятся к законам, созданным произволом.

Я подверг беспощадной критике экономистов. Должен признаться, что в общем я их не люблю. Меня возмущают претенциозность и пустота их сочинений, их дерзкая надменность и их бесконечные заблуждения. Пусть их читает тот, кто, зная их, прощает им.

Я высказал суровое порицание христианской церкви, занимающейся поучениями, я должен был это сделать. Это порицание было вызвано доказанными мною фактами: зачем церковь предписывала правила в области, недоступной ее пониманию; церковь заблуждалась в области догматов и нравственности; физическая и математическая очевидность свидетельствует против нее. Быть может, с моей стороны преступление говорить это, но во всяком случае это обстоятельство – несчастье для христианства. Для того чтобы восстановить религию, милостивые государи, надо осудить церковь.

Быть может, вы не одобрите, что я, направив все усилия на метод и наглядность, слишком небрежно отнесся к форме и стилю. Всякие попытки исправить это были бы напрасны. У меня нет надежды и веры в мою литературную долговечность. Девятнадцатое столетие, на мой взгляд, есть эра созидающая, в которой зарождаются новые принципы, но ничто написанное не сохранится надолго. По этой-то именно причине, на мой взгляд, в современной Франции, насчитывающей так много талантливых людей, нет ни одного великого писателя. Искание литературной славы в таком обществе, как наше, мне кажется анахронизмом. Зачем заставлять говорить старую Сивиллу накануне рождения Музы. Нам, жалким актерам приближающейся к концу трагедии, остается только ускорить этот конец. Больше всех заслужит одобрения тот из нас, кто лучше всех выполнит эту роль. Я со своей стороны не претендую более на эту печальную честь.

Отчего бы мне не сделать вам этого признания, милостивые государи? Я добивался вашего согласия сделать меня вашим стипендиатом, ненавидя все существующее и питая разрушительные планы. Я кончу курс наук в спокойном и примиренно философском настроении. Понимание истины придало мне хладнокровия больше, чем чувство угнетения – гнева. Я был бы счастлив, если бы это сочинение могло внушить моим читателям спокойствие духа, создаваемое ясным пониманием зла и его причин, и гораздо более мощное, нежели страсть и восторженность. Моя ненависть к привилегиям и власти людей была беспредельна; быть может, я не раз в своем негодовании несправедливо смешивал людей и вещи; теперь я только презираю и жалею. Познав, я перестал ненавидеть.

Вы, милостивые государи, кому дана миссия и право провозглашать истину, вы должны теперь просвещать народ и научить его, на что ему надеяться и чего бояться. Народ, неспособный еще здраво судить о том, что ему нужно, готов приветствовать самые противоположные идеи, когда он видит, что ему льстят. Для него законы мысли то же, что и пределы возможного; он теперь так же мало умеет отличить философа от софиста, как прежде ученого от волшебника. „Легко склонный уверовать во все новости, собирать и сохранять их, склонный считать всякие слухи истинными, он может быть собран по свистку или звонку новостей, как собираются мухи на звон посуды“.

Если бы вы, милостивые государи, желали равенства, как желаю его я, если бы вы, для вечного блага нашей родины, могли сделаться его проповедниками и глашатаями, если бы, наконец, я был последним вашим стипендиатом! Из всех пожеланий, какие я мог бы высказать, это наиболее достойное вас, милостивые государи, и наиболее почетное для меня.

Остаюсь с глубочайшим уважением и искреннейшей признательностью.

Ваш стипендиат П.-Ж. Прудон».

* * *

Два месяца спустя после получения этого письма академия, на заседании 24 августа, ответила своему стипендиату постановлением, текст которого я привожу ниже:

«Один из членов обращает внимание академии на брошюру, выпущенную в свет в июне этого года лицом, получающим стипендию Сюар, под заглавием *„Что такое собственность?“* и посвященную автором академии. Член этот полагает, что справедливость, добрый пример и собственное достоинство коллегии обязывают ее, путем публичного порицания, снять с себя ответственность за антисоциальные доктрины, заключающиеся в этом произведении. Ввиду всего изложенного этот член предлагает:

1) Чтобы академия самым решительным образом отвергла и осудила сочинение лица, получающего сюаровскую стипендию, как сочинение, напечатанное без одобрения академии и приписывающее последней взгляды, диаметрально противоположные взглядам каждого из ее членов;

2) Чтобы стипендиату было вменено в обязанность в том случае, если бы он выпустил второе издание книги, снять с нее посвящение;

3) Чтобы настоящее постановление академии было напечатано в трудах академии. Поставленные на голосование, эти предложения были приняты».

После этого курьезного решения, которое авторы его хотели сделать грозным, придав ему форму опровержения, мне остается только просить читателя не судить об интеллигентности моих сограждан по интеллигентности нашей академии.

Между тем как мои патроны от социальных и политических наук предавали анафеме мою *брошюру,* человек, чуждый нашей Франш-Конте, человек, не знающий меня, который мог бы себя считать даже лично затронутым моей чересчур резкой критикой экономистов, публицист настолько же ученый, насколько и скромный, любимый народом, страданиям которого он сочувствует, уважаемый властями, которых он старается просветить, не льстя им и не унижая их, господин Бланки, член института, профессор политической экономии, защитник собственности, выступил в защиту меня перед своими собратьями и перед министром и спас меня от ударов юстиции, всегда слепой, потому что она всегда невежественна.

Я полагаю, что читатель с удовольствием прочтет письмо, которое господин Бланки имел честь написать мне после выхода в свет моего второго сочинения, письмо, настолько же обнаруживающее благородство своего автора, насколько лестное для лица, которому адресовано.

«Милостивый государь!

Спешу поблагодарить вас за любезную присылку вашей второй статьи о собственности. Я прочел ее с величайшим интересом, который, естественно, внушило мне знакомство с первой статьей. Я очень рад, что вы несколько изменили резкость формы, придававшую труду, имеющему столь важное значение, вид и характер памфлета. Вы меня испугали, милостивый государь, и только ваш талант успокоил меня относительно ваших намерений. Не следует тратить столько истинных знаний на то, чтобы вызвать пожар в своей родной стране. Грубое заявление, что собственность есть кража, могло бы оттолкнуть от вашей книги даже серьезные умы, которые судят о содержимом не по этикетке, поставленной на обложке, если бы вы поддерживали его во всей его грубой простоте. Однако, хотя вы и смягчили форму, вы все же остались верны

сущности своего учения, и, хотя вы сделали мне честь, назвав меня соучастником этой опасной проповеди, я не могу признать себя солидарным с вашим трудом, талантливость которого была бы почетна для меня, но который компрометировал бы меня во всех других отношениях.

Я согласен с вами лишь в одном: в этом мире всевозможных видов собственности царит слишком много злоупотреблений, но из этого я не вывожу необходимости уничтожить собственность; уничтожение ее было бы героическим средством, равносильным смерти. Я пойду дальше: я признаюсь вам, что из всех злоупотреблений, на мой взгляд, самое отвратительное – злоупотребление собственностью. Но повторяю: это зло можно устранить, не касаясь собственности и, главное, не разрушая ее. Если современные законы плохо регулируют пользование собственностью, то мы можем изменить эти законы. Наш гражданский кодекс не Коран, мы не раз это доказывали. Реформируйте законы, регулирующие пользование собственностью, но воздерживайтесь от провозглашения анафемы. Ибо если быть последовательным, то найдется ли порядочный человек, у которого руки были бы вполне чисты? Не думаете ли вы, что можно быть вором, не желая, не зная и даже не подозревая этого. Не допускаете ли вы, что в организации современного общества, так же как и в организации каждого человека, есть масса пороков и добродетелей, унаследованных от наших предков. Неужели собственность, на ваш взгляд, такая простая и отвлеченная вещь, что вы можете уничтожить ее и, так сказать, уравнять под вальцами метафизики. В двух своих блестящих и парадоксальных импровизациях вы, милостивый государь высказали слишком много прекрасных и практичных взглядов, для того чтобы вас можно было считать чистым и неисправимым утопистом. Вы слишком хорошо знакомы с экономическим и академическим языком, для того чтобы играть словами, способными вызвать бурю, и я думаю, что вы с *собственностью* сделали то же самое, что восемьдесят лет тому назад Руссо сделал с *образованием,* вы сделали ее предлогом к блестящему и поэтическому интеллектуальному и научному скандалу. Таково, по крайней мере, мое мнение.

Так я говорил и в институте в тот день, когда давал отзыв о вашей книге. Я знал, что ее хотят подвергнуть судебному преследованию; вы, может быть, никогда не узнаете, благодаря какой счастливой случайности я имел приятную возможность помешать этому. Для меня было бы вечным упреком, если бы королевский прокурор, вершитель судеб в области литературы, явился бы после меня, и как бы по следам, проложенным мною, с целью напасть на вашу книгу, а вместе с тем и на вашу личность. Я провел, клянусь вам, из-за этого две ужасные ночи, и мне удалось удержать карающую руку, занесенную над вами, лишь при помощи уверения, что ваша книга представляет научную диссертацию, но отнюдь не манифест поджигателя. Ваш стиль слишком возвышен для того, чтобы служить когда-либо тем безумцам, которые при помощи ударов камня решают на улицах величайшие проблемы нашего социального строя. Но берегитесь, милостивый государь, чтобы они не явились помимо вас искать материал в вашем громадном арсенале и чтобы ваша могучая метафизика не попала в руки какого-нибудь софиста, который станет комментировать ее перед голодной аудиторией, ибо выводом из этого будет грабеж.

Я, милостивый государь, не менее вас взволнован раскрытыми вами злоупотреблениями. Но я так сильно привязан к порядку – не к банальному и тяжелому порядку, довольствующемуся агентами полиции, – но к величественному порядку человеческих обществ, что мне подчас бывает трудно нападать на иные злоупотребления. Каждый раз, когда я вынужден сотрясать что-либо одной рукой, мне хочется это же поддерживать другой. Когда обрезаешь старое дерево, то следует остерегаться уничтожения плодоносных почек. Вы знаете это лучше, чем кто бы то ни было другой; вы человек серьезный, образованный, с наблюдательным умом. Вы в таких живых выражениях говорите о настроениях нашего времени, что даже самые мрачные люди могут успокоиться относительно ваших намерений. Но вы приходите к выводу о необходимости уничтожить собственность, вы хотите уничтожить могущественнейшую пружину, движущую человеческим интеллектом, вы нападаете на самые сладкие иллюзии родительского

чувства, вы одним своим словом останавливаете возникновение капиталов, и отныне мы будем строить свои здания на песке, вместо того чтобы строить их на граните. Вот чего я не могу допустить, вот почему я критиковал вашу книгу, хотя она блещет огнем и знаниями, хотя в ней встречается так много прекрасных страниц!

Я желал бы, чтобы мое почти подорванное здоровье позволило мне вместе с вами изучить страницу за страницей сочинение, которое вы сделали честь адресовать мне лично. Я думаю, что мог бы сделать вам весьма веские возражения. В данный момент мне приходится ограничиться выражением благодарности за лестные слова, которые вам угодно было высказать обо мне. Мы с вами оба искренни, я же, кроме того, и осторожен. Вы знаете, какое глубокое недовольство царит среди рабочего класса; я знаю, какое множество благородных сердец бьется под этими грубыми одеждами, я чувствую неудержимое братское влечение к этим тысячам хороших людей, которые встают так рано для того, чтобы трудиться, платить подати и создавать могущество нашей нации; я стараюсь служить им и просветить их, между тем как иные стараются ввести их в заблуждение. Вы не писали непосредственно для них; вы сочинили два великолепных манифеста, из которых второй умереннее первого; напишите третий, еще более умеренный, и вы займете высокое место в науке, первой обязанностью которой является спокойствие и беспристрастие.

Прощайте, милостивый государь. Нельзя чувствовать больше уважения к человеку, чем чувствую к вам я.

Бланки.

Париж, 1 мая 1841 года».

* * *

Конечно, я мог бы сделать немало возражений на это благородное и красноречивое послание, но признаюсь, я более желал бы осуществить своего рода пророчество, которым оно оканчивается, нежели напрасно увеличивать число своих антагонистов. Вся эта полемика утомляет и раздражает меня. Ум, потраченный на словесные сражения, так же как и ум, потраченный на войну, пропадает непроизводительно. Господин Бланки признает, что собственность создает массу злоупотреблений, злоупотреблений вопиющих. Я со своей стороны называю собственностью всю сумму злоупотреблений. Как для меня, так и для него собственность есть многоугольник, углы которого нужно обломать, но г. Бланки утверждает, что после этого многоугольник останется все же многоугольником (гипотеза, принятая в математике, хотя и не доказанная), я же со своей стороны полагаю, что фигура эта будет кругом. Хотелось бы хоть с порядочными людьми приходить к соглашению.

Я, впрочем, согласен, что при современном положении вещей для ума вполне естественно остановиться пред уничтожением собственности. В самом деле, для того чтобы считать дело выигранным, недостаточно уничтожить общепризнанный принцип, имеющий за собой ту несомненную заслугу, что он резюмирует систему наших политических верований; надо еще установить противоположный принцип и сформулировать вытекающую из него систему. Кроме того, необходимо показать, каким образом эта новая система удовлетворит тем нравственным и политическим потребностям, которые вызвали возникновение первой. Ввиду этого я обусловливаю точность приведенных мною доказательств следующими ясными до очевидности положениями:

Требуется найти систему абсолютного равенства, при которой все современные учреждения, за исключением собственности или суммы злоупотреблений собственностью: индивидуальная свобода, разделение власти, общественное министерство, жюри, организация администраций и суда, единство и цельность образования, брак, семья, наследование по прямой и боковым линиям, право продажи и обмена, право завещания, право старшинства, – не только

нашли бы место, но сами послужили бы, так сказать, средствами равенства, систему, которая лучше, чем собственность, обеспечивает образование капиталов и во всех поддерживает деятельность, которая с высшей точки зрения объясняет, исправляет и дополняет все теории ассоциации, предложенные до сих пор, со времен Платона и Пифагора и кончая Бабефом, Сен-Симоном и Фурье, – систему, которая наконец, сама являясь средством перехода, была бы непосредственно осуществима.

Такой обширный труд потребовал бы соединенных усилий двадцати Монтескье; однако если отдельному человеку не дано довести дело до конца, то во всяком случае он может начать его. Путь, пройденный им, будет достаточен, чтобы раскрыть его цель и обеспечить успех.

Глава I
Метод, принятый в настоящем труде. Идея революции

Adversus hostem aeterna auctoritas esto.
Закон XII таблиц

Если бы мне надо было ответить на вопрос: *«Что такое рабство?»* – я ответил бы: *«Это убийство»,* и мысль моя была бы сразу же понятна. Мне не было бы нужды в длинных рассуждениях, чтобы показать, что право отнять у человека его мысль, волю, его личность есть право над его жизнью и смертью и сделать человека рабом – значит убить его. Почему же на другой вопрос: *«Что такое собственность?»* – я не мог бы ответить просто, не боясь быть непонятым: *«Это кража»,* – тем более что это второе предложение является лишь перефразированным первым.

Я оспариваю самый принцип нашей власти и наших учреждений – собственность; я имею на это право: я могу ошибаться в выводах, вытекающих из моих исследований; я имею право: мне нравится конечный вывод моей книги переносить в начало; я во всяком случае имею на это право.

Немало авторов поучают, что собственность есть гражданское право, являющееся результатом завладения и освященное законом; немало других утверждают, что это право естественное, источником которого является труд. И доктрины эти, по-видимому совершенно противоположные, пользуются поощрением и одобрением. Я же со своей стороны утверждаю, что ни труд, ни завладение, ни закон не могут создать собственности; что, в сущности, она не имеет оснований – можно ли меня порицать за это?

Какой шум поднимается!

– *Собственность есть кража! Это набат 1793 года!* Это лозунг революций!..

– Успокойся, читатель: я не носитель раздора и не зачинщик мятежа. Я предваряю на несколько дней историю; провозглашаю истину, обнаружению которой мы напрасно стараемся помешать; пишу введение к будущей конституции. Если бы наши предубеждения позволили нам принять кажущееся вам святотатственным определение: *собственность есть кража,* то это могло бы сыграть для нас роль громоотвода; но сколько своекорыстных интересов, сколько предрассудков мешают этому!.. Философия, увы, не в состоянии изменить хода событий: то, чему суждено, свершится независимо от предсказаний. Впрочем, быть может, справедливости суждено свершиться, а нашему воспитанию суждено закончиться…

– *Собственность есть кража!..* Какой переворот в области человеческих понятий! *Собственник* и *вор* во все времена представляли полную противоположность, точно так же, как и понятия, которые они обозначают; все языки санкционировали эту противоположность. Каким же путем можете вы завоевать себе всеобщее сочувствие и уличить род человеческий во лжи! Кто вы, рискующий отрицать здравый смысл веков и народов?

– Что вам, читатель, до моей скромной личности? Я, так же как и вы, сын века, в который рассудок признает лишь факты и документальные доказательства; имя мое, точно так же, как и ваше, – *искатель истины,* цель моя выражается следующими словами: *«Говори без злобы и страха, говори все, что знаешь»*. Дело нашего поколения – создать храм науки, и наука эта охватывает человека и природу. Ведь истина раскрывается всем: сегодня Ньютону и Паскалю, завтра деревенскому пастуху, рабочему. Каждый приносит к постройке свой камень и, выполнив свою задачу, исчезает бесследно. Вечность предшествует нам, вечность за нами следует: место, занимаемое смертным между этими двумя бесконечностями, настолько ничтожно, что век наш не может интересоваться этим.

Итак, читатель, оставьте мое имя и мои личные качества и занимайтесь лишь моими доводами. Я дерзаю, с согласия всего мира, открыть всеобщее заблуждение; я апеллирую к вере человеческого рода, против его рассудка. Имейте мужество последовать за мною и, если ваша воля и ваше сознание свободны, если ум ваш в состоянии соединять два предложения, чтобы вывести из них третье, то мои идеи, безусловно, сделаются также и вашими. Предлагая вам в самом начале свой конечный вывод, я не хотел бросить вам вызов, но желал только предупредить вас, ибо я уверен, что, прочитав мой труд, вы согласитесь со мною. Вещи, о которых я хочу говорить с вами, так просты, так наглядны, что вы будете изумляться, как не заметили их раньше, и скажете себе: «Я никогда не думал об этом». Другие явят вам зрелище гения, исторгающего у природы ее тайны и провозглашающего возвышенные изречения; здесь вы найдете только ряд исследований о *справедливости* и о *праве,* так сказать, проверку весов и мер вашей совести. Все операции будут производиться у вас на глазах, и вы сами будете в состоянии оценить их результат.

Впрочем, я не предлагаю никакой системы; я требую уничтожения привилегий и рабства, я хочу равноправия, хочу, чтобы царил закон. Справедливость, и только справедливость – вот суть моего сочинения. Предоставляю другим дисциплинировать мир.

Однажды я спросил себя: почему в обществе существует столько горя и столько нищеты? Неужели человек вечно должен быть несчастным? Не останавливаясь на объяснениях всевозможных реформаторов, указывающих как на причину всеобщих бедствий либо на трусость и неумелость властей, либо на заговорщиков и на восстания, либо же на всеобщее невежество и испорченность, утомленный бесконечными препирательствами с трибуны и в прессе, я пожелал сам исследовать этот вопрос. Я советовался со светилами науки, я прочел сотни томов по философии, праву, политической экономии и истории, и поистине я был бы счастлив, если бы жил в эпоху, когда такое чтение могло бы принести мне пользу. Я приложил все усилия, чтобы получить точные сведения, сравнивая различные учения, противопоставляя замечаниям ответы, непрестанно сопоставляя аргументы, взвешивая тысячи силлогизмов с точки зрения строжайшей логики. На этом трудном пути я собрал несколько интересных фактов, которые я сообщу моим друзьям и публике, как только у меня найдется на это время. Я должен признаться: мне прежде всего показалось, что мы никогда не понимали смысла таких простых и вместе с тем таких священных слов, как справедливость, равенство, свобода, что наши понятия об этих вещах были совершенно темны и что, наконец, это невежество было единственной причиной одолевающего нас пауперизма и всех бедствий, угнетающих человеческий род.

При этом странном выводе ум мой содрогнулся. Я усомнился в здравости своего рассудка. Как, говорил я, ты мнишь себя открывшим то, чего не видел ни один взор, не слышали ничьи уши, чего не проникал еще человеческий ум. Берегись, несчастный, и не принимай порождения твоего больного мозга за светлые лучи науки. Разве ты не знаешь, что, по словам великих философов, в смысле практической морали всеобщим заблуждением является противоречие? Поэтому я решил проверить мои суждения, и вот какие пункты я наметил для своего будущего труда: возможно ли, чтобы человечество так долго и так единодушно заблуждалось относительно применения принципов нравственности? Каким образом и почему оно заблуждалось? Не является ли это всеобщее заблуждение непобедимым?

Эти вопросы, от разрешения которых зависела точность моих наблюдений, недолго противостояли анализу. В пятой главе настоящего сочинения читатель увидит, что в области морали, так же как и во всякой другой области познания, величайшие заблуждения являются для нас ступенями к науке, что даже и в проявлениях справедливости способность заблуждаться есть привилегия, облагораживающая человека, и что, наконец, заслуги мои в области философии очень невелики. Немудрено называть вещи по имени, важно было бы знать их до их появления. Выражая идею, достигшую полного развития, идею, занимающую все умы, которая завтра будет провозглашена кем-нибудь другим, если я не провозглашу ее сегодня, я имею за

собой лишь заслугу первой ее формулировки. Разве воздают похвалу тому, кто первый видит занимающийся день?

Да, все люди верят и повторяют, что равенство условий идентично с равноправием, что *собственность* и *кража* – синонимы, что всякое социальное преимущество, полученное или, вернее, узурпированное под предлогом превосходства таланта, заслуг, есть неравенство и насилие. Все люди, повторяю я, чувствуют в душе эти истины, надо только заставить осознать их.

Прежде чем приступить к делу, я должен сказать несколько слов относительно пути, которому я буду следовать. Когда Паскаль принимался за какую-нибудь задачу геометрии, он придумывал метод разрешения ее. Для разрешения философской проблемы нужен также метод; ведь проблемы, волнующие философию, по своим выводам несравненно важнее проблем геометрии. Следовательно, для разрешения их тем более нужен глубокий и строгий анализ.

Современные психологи говорят, будто отныне нет никакого сомнения в том, что всякое восприятие, полученное умом, определяется им по известным общим законам этого же ума; отливается в нем, так сказать, по известным типам, предсуществующим в нашем сознании и представляющим как бы формальные свойства последнего. Таким образом, говорят они, если дух не имеет врожденных *идей,* то он имеет, по крайней мере, врожденные формы. Так, например, всякое явление по необходимости воспринимается нами как существующее во времени и пространстве; все существующее заставляет нас предполагать причину, вызвавшую его; все существующее заключает в себе идеи *субстанции, формы, числа, отношения* и т. д., – одним словом, мы не можем создать ни одной мысли, которая не стояла бы в связи с одним из общих принципов разума, вне которых ничто не существует.

Эти аксиомы познания, добавляют психологи, эти основные типы, к которым неизбежно сводятся все наши суждения и все наши идеи и которые нашими чувствами только обнаруживаются, известны под названием категорий. Их первоначальное существование в нашем уме в настоящее время доказано, остается только систематизировать их и перечислить. Аристотель насчитывал их десять, Кант увеличил число их до пятнадцати, господин Кузен ограничил их число тремя, двумя, одной. Несомненной заслугой этого профессора является то, что он если и не открыл истинной теории категорий, то, по крайней мере, лучше, чем кто бы то ни было другой, понял важное значение этого вопроса, величайшего и, быть может, единственного вопроса всей метафизики.

Я, признаюсь, не верю не только во врожденные *идеи,* но даже во врожденные *формы* или *законы* нашего познания и считаю метафизику Рида и Канта еще гораздо более далекой от истины, чем метафизику Аристотеля. Не имея, однако, в виду заниматься здесь критикой разума, вопросом, который потребовал бы продолжительного труда и который совсем не интересует публику, я допускаю гипотетически, что наши наиболее общие и наиболее необходимые понятия, как, например, понятие о времени, пространстве, субстанции и причине, искони существуют в уме или, по крайней мере, непосредственно вытекают из его организации.

Существует, однако, не менее достоверный психологический факт, к которому философы до сих пор относились, пожалуй, чересчур пренебрежительно: дело в том, что привычка, как вторая натура, может внушить познанию новые формы категорий, позаимствованных от внешних признаков, привлекающих наше внимание и обыкновенно лишенных объективной реальности. Тем не менее их влияние не в меньшей степени определяет наши суждения, чем влияние первых категорий. Таким образом, мы рассуждаем одновременно и согласно *вечным* и *абсолютным* законам нашего разума и согласно второстепенным правилам, большею частью ошибочным и внушенным нам недостаточно точными наблюдениями вещей. Таков обильный источник ложных предрассудков, постоянная и нередко непреодолимая причина множества заблуждений. Воздействие этих предрассудков на нас так сильно, что нередко, даже нападая на принцип, который наш ум считает ложным, разум отрицает и совесть отвергает, мы, сами того не замечая, являемся его защитниками, рассуждая под его влиянием и подчиняясь ему.

Ум наш, как бы в заколдованном кругу, вертится вокруг самого себя до тех пор, пока новое наблюдение, возбудив в нас новые мысли, не заставит открыть внешний принцип, освобождающий нас от фантома, которым одержимо наше воображение.

Мы, например, знаем теперь, что в силу универсального магнетизма, причина которого нам не известна, два тела, не встречающие на своем пути никаких препятствий, стремятся соединиться, благодаря силе, называемой тяготением. Это же самое тяготение заставляет падать на землю тела, лишенные опоры, заставляет их производить давление на весы и дает нам самим возможность удерживаться на земле, на которой мы обитаем. Незнакомство с этой силой было единственной причиной, мешавшей древним верить в существование антиподов. «Как вы не понимаете, – говорил, по словам Лактанция, св. Августин, – что если бы под нашими ногами существовали люди, то они ходили бы вниз головами и упали бы в небо». Епископ гиппонский, считавший землю плоской, потому что она казалась ему таковою, предполагал вполне последовательно, что если бы от зенита до надира различных местностей провести прямые линии, то эти линии были бы параллельны между собою; притом он предполагал, что всякие движения сверху вниз происходят по направлению этих линий. Отсюда он, естественно, должен был заключить, что звезды, подобно движущимся факелам, прикреплены к небесному своду, что, предоставленные самим себе, они упали бы на землю в виде огненного дождя, что земля есть громадная плоскость, представляющая собой внутреннюю часть вселенной, и т. д. Если бы его спросили, на чем держится сама земля, он ответил бы, что он этого не знает, но что для Бога нет ничего невозможного. Таковы были понятия св. Августина о пространстве и времени, понятия, внушенные ему предрассудком, созданным видимостью и сделавшимся для него общим и категорическим правилом суждений. Что касается самой причины падения тел, то на сей счет ум св. Августина безмолвствовал. Он был бы в состоянии разве только сказать, что тело падает потому, что оно падает.

Для нас понятие падения более сложно; к общим понятиям пространства и движения, которые вызывает в нас понятие падения, мы присоединяем понятие притяжения или стремления к известному центру, вызванное более общим понятием причины. Но хотя физика совершенно изменила наше суждение в этом отношении, мы в обыденной жизни сохранили предрассудок св. Августина, и, когда мы говорим, что вещь *упала,* мы подразумеваем при этом не явление притяжения вообще, но движение предмета по направлению к земле, *сверху вниз*. Несмотря на просвещенность нашего разума, воображение увлекает нас и язык наш остается неисправим. *Упасть с неба* – такое же неверное выражение, как и *подняться на небо,* а между тем это выражение сохранится до тех пор, пока будет существовать человеческий язык.

Все эти обороты речи, вроде *сверху вниз, свалиться с неба* и проч., теперь уже не опасны, потому что мы на практике знаем им цену, но они в значительной степени препятствовали прогрессу науки. В самом деле, для статики, механики, гидродинамики, баллистики безразлично, будет ли известна истинная причина падения тел и будут ли установлены точные понятия о главном направлении пространства. Иначе обстоит дело, когда речь идет об объяснении системы мира, причины морских приливов, о форме земли и о положении ее в небесах. Для решения всех этих вопросов надо выйти из круга видимости. Уже в самой глубокой древности стали появляться гениальные механики, архитекторы и артиллеристы. Заблуждения их относительно формы земли или силы тяготения нисколько не мешали развитию их искусства; прочность зданий и верность выстрелов нисколько от этого не страдали. Но рано или поздно должны были обратить на себя внимание явления, которые были необъяснимы, благодаря допущению, что все перпендикуляры, проведенные к поверхности земли, параллельны между собою. Тогда должна была возникнуть борьба между предрассудками, которые в течение целых столетий удовлетворяли житейской практике, и новыми взглядами, которым, по-видимому, противоречила очевидность.

Таким образом, с одной стороны, самые ошибочные суждения, имеющие своей основой отдельные факты или хотя бы даже одну только видимость, всегда обнимают собой сумму реальностей, более или менее широкая сфера которых достаточна для известного числа наведений, вне которых мы впадаем в абсурд. Так, например, из понятий св. Августина было верно то, что тела падают на землю, что падение их происходит по прямой линии, что солнце или земля движется, что солнце или земля вращается и т. д. Эти общие факты всегда были истинными; наша наука ничего к ним не прибавила. Но, с другой стороны, необходимость отдать себе точный отчет во всем заставляет нас отыскивать все более и более ясные принципы. Поэтому пришлось последовательно отказываться сначала от взгляда, что земля плоская, затем от учения, считающего ее неподвижным центром вселенной, и т. д.

Если мы перейдем теперь из мира физической природы в область морали, то и здесь увидим, что мы подчинены тем же самым обманам видимости, тем же самым влияниям привычки и произвольности. Но эта вторая часть системы наших познаний отличается, с одной стороны, дурными или хорошими последствиями, вытекающими из наших взглядов, а с другой стороны, упорством, с которым мы защищаем предрассудок, мучающий и убивающий нас.

Какое бы учение о причине тяжести и форме земли мы ни приняли, физическое состояние земного шара от этого не изменится. Для своего социального строя мы не можем из этого извлечь ни выгоды, ни неудобства, но законы нашей нравственной природы осуществляются в нас и через нас, вследствие чего эти законы не могут проявляться помимо нашего обдуманного участия, помимо нашего сознания. Если, таким образом, наши нравственные законы ложны, то мы, очевидно, желая делать себе добро, причиняем зло. Если эти нравственные законы только неполны, они в течение некоторого времени могут удовлетворять нашему социальному развитию, но с течением времени они увлекут нас на ложный путь, доведут нас до бездны бедствий.

Тогда мы не можем обойтись без высших познаний, и, к чести нашей, следует сказать, что никогда еще они не изменяли нам. Но тогда же начинается ожесточенная борьба между старыми предрассудками и новыми идеями, тогда наступают дни возмущений и трепета. Люди мысленно возвращаются к тем временам, когда при тех же самых верованиях, при тех же самых учреждениях они казались счастливыми. Как отрицать эти верования, как отвергать эти учреждения?! Люди не хотят понять, что именно этот счастливый период служил развитию зла, которое заключало в себе общество; они обвиняют людей и богов, властей земных и силы природы; вместо того чтобы искать причины зла в своем разуме, в своем сердце, человек обвиняет своих вождей, своих соперников, соседей, самого себя; нации вооружаются, избивают и уничтожают друг друга, пока, благодаря опустошениям в их рядах, не установится равновесие, пока из праха сражающихся не родится мир. Так трудно человечеству нарушать обычай предков и изменять законы, данные основателями государств и освященные вековою верностью им.

«*Nihil motum ex antiquo probabile est!* (Остерегайтесь всяческих новшеств!)» – восклицал Тит Ливий. Несомненно, для человека было бы гораздо лучше, если бы ему никогда ничего не приходилось менять. Что делать? Он родится невеждою, он осужден приобретать знания постепенно, неужели же из-за этого он должен отказаться от просвещения, отречься от своего разума и предоставить себя на волю случая? Полное здоровье лучше, чем выздоравливание, но неужто же больной должен из-за этого отказаться от выздоровления? «Реформ, реформ!» – взывали некогда Иоанн Креститель и Иисус Христос; «реформ, реформ!» – восклицали пятьдесят лет назад наши предки, и нам самим еще в течение долгого времени предстоит взывать: «реформ, реформ!»

Будучи свидетелем бедствий моей эпохи, я сказал себе: между принципами, на которых основывается общество, есть один, которого оно не понимает, который испорчен этим непониманием и служит причиной всего зла. Принцип этот – старейший из всех, ибо особенностью революций является то, что они разрушают новейшие принципы, но уважают более старые. Таким образом, зло, нас терзающее, старше всех революций. Этот принцип в том виде, в какой

его привело наше незнание, является предметом почета и желаний для всех, ибо, если бы его не желали, он никого не мог бы угнетать и не имел бы влияния.

Но что же это за принцип, истинный сам по себе, ложный по нашему способу понимать его, такой же древний, как и человечество? Неужели это религия?

Все люди верят в Бога; догмат этот составляет одновременно принадлежность и разума, и совести человеческой. Бог для человечества такой же примитивный факт, такое же неизбежное понятие, такой же необходимый принцип, каким являются для нашего познания категории причины, субстанции, времени и пространства. Наше сознание подсказывает нам существование Бога раньше всяких индукций разума, подобно тому как существование солнца обнаруживается для нас при помощи чувств прежде всех рассуждений физики. Наблюдение и опыт раскрывают нам явления и законы, но одно лишь внутреннее чувство раскрывает нам существование. Человечество верит, что Бог существует, но во что именно оно верит, веруя в Бога? Одним словом, что такое Бог?

Это понятие божества, понятие примитивное и всеобщее, врожденное нам, до сих пор еще не было определено человеческим разумом; с каждым шагом вперед, который мы делаем в познании природы и причин явлений, понятие Бога возвышается и расширяется. По мере того как наука идет вперед, Бог как будто увеличивается и отдаляется. Антропоморфизм и идолопоклонство были неизбежным следствием юности умов, богословием детей и поэтов. Они были бы невинным заблуждением, если бы их не вздумали делать руководящим принципом жизни и если бы люди умели уважать свободу взглядов; но, создав Бога по своему образу и подобию, человек хотел еще сделать его своей собственностью. Не довольствуясь искажением идеи верховного существа, человек стал обращаться с ним, как со своей собственностью, со своею вещью. Бог, представленный в чудовищных формах, сделался повсюду собственностью человека и государства. Таков был источник порчи нравов религией; благочестивой ненависти и священных войн. Теперь, благодаря небу, мы научились предоставлять каждому веровать по-своему и стараемся найти правила поведения вне культа. Прежде чем устанавливать природу и атрибуты Бога, догматы богословия и судьбы наших душ, мы терпеливо ждем, пока наука покажет нам, что мы должны отвергнуть и что признать. Бог, душа, религия – эти вечные предметы наших неустанных размышлений и самых пагубных заблуждений, эти ужасные проблемы, разрешение которых, несмотря на все попытки, осталось неполным, могут еще служить нам причиной для заблуждений, но эти заблуждения не будут по крайней мере иметь последствий. С установлением свободы культа, с отделением духовного от светского, влияние религиозных идей на ход развития общества становится чисто отрицательным, ибо ни один закон, ни одно политическое или гражданское учреждение не имеет ничего общего с религией. Забвение религиозных обязанностей может содействовать общей испорченности, но оно не является более вызывающей ее причиной, а только одной из причин второстепенных или следствием последних. В вопросе, который нас занимает, особенно важно то обстоятельство, что причину неравенства людей, пауперизма, общечеловеческих бедствий и затруднений правительств нельзя уже теперь искать в религии; приходится идти дальше и глубже.

Но есть ли в человеке что-нибудь глубже и древнее религиозного чувства?

Сам человек, т. е. воля и сознание, свобода воли и закон, находится в антагонизме с самим собой; человек борется сам с собой – почему?

«Человек, – говорят богословы, – согрешил в самом начале; род наш издревле повинен в нарушении долга, и благодаря этому греху человечество пало: заблуждение и невежество сделались его постоянными спутниками. Углубляйтесь в историю: всюду вы найдете свидетельство неизбежности зла в непрестанных бедствиях народов. Человек страдает и всегда будет страдать; болезнь его наследственная и органическая. Сколько бы вы ни употребляли средств паллиативных и облегчающих, излечение невозможно».

Такие рассуждения свойственны не одним только богословам; несколько в иной форме они встречаются в сочинениях философов-материалистов, сторонников учения о бесконечной способности совершенствоваться. Дестют-де-Траси прямо говорит, что пауперизм, преступления, войны являются неизбежными условиями нашего социального строя, неизбежным злом, восставать против которого было бы безумием. Итак, необходимость зла или природная испорченность – в сущности, одна и та же философия.

«Первый человек согрешил». Если бы толкователи Библии объясняли ее правильно, они сказали бы: человек прежде всего грешит, т. е. ошибается, ибо грешить, заблуждаться, ошибаться – это одно и то же.

«Последствия Адамова греха остались в его роду наследством. Первым из этих последствий является неведение». Действительно, неведение есть природное свойство как рода, так и индивида, но это неведение нашего рода по отношению к массе вопросов, даже нравственного и политического характера, исчезло. Кто может уверить нас, что оно не исчезнет и совсем? Человечество непрестанно приближается к истине, свет постоянно побеждает тьму. Таким образом, наша болезнь не неизлечима, и объяснение богословов более чем неудовлетворительно. Оно смешно, ибо в сущности сводится к следующей тавтологии: «Человек ошибается, потому что ошибается», между тем как следовало бы сказать: «Человек ошибается, потому что учится». Если человеку удастся узнать все, что ему нужно узнать, то, вероятно, перестав ошибаться, он перестанет и страдать.

Если мы спросим ученых, что такое этот закон, якобы запечатленный в сердце человека, то мы скоро убедимся, что они спорят о нем, не зная, что он собой представляет; что на самые важные вопросы существует столько же взглядов, сколько и авторов, что нет двух авторов, согласных между собою относительно лучшей формы правления, принципа власти, сущности права, что все они носятся по воле случая в море без берегов и дна, предоставленные собственному своему вдохновению, которое они скромно принимают за непосредственный голос разума. Глядя на этот хаос противоречивых мнений, мы скажем: «Предметом наших исследований является закон, определение социального принципа». Политики, т. е. люди, изучающие социальные науки, не согласны между собою; таким образом, заблуждение скрывается в них; а так как всякое заблуждение имеет своим предметом реальность, то истина должна заключаться в их книгах, в которые они бессознательно вложили ее.

О чем же рассуждают юристы и публицисты? *О справедливости, равенстве, свободе, об естественном законе, о гражданских законах* и т. д. Но что такое справедливость? какова ее сущность, ее характер, какова ее формулировка? На этот вопрос наши ученые, очевидно, ничего не могут ответить, ибо в противном случае их наука, исходя из ясного и достоверного принципа, вышла бы из своего вечного состояния недостоверности и все споры кончились бы.

Что такое справедливость? Богословы отвечают: всякая справедливость исходит от Бога. Это верно, но это ничего нам не объясняет.

Философы должны бы быть более осведомлены: они столько спорили о том, что справедливо и что несправедливо. К несчастью, опыт показывает, что их сведения сводятся к нулю, что они подобны тем дикарям, которые молились солнцу, выкрикивая: «О!» О! есть крик удивления, любви, восторга, но тот, кто желал бы узнать, что такое солнце, нашел бы мало поучительного в этом междометии «О!». В такое именно положение попадаем мы, когда спрашиваем у философов, что такое справедливость. Справедливость, говорят они, есть *дитя неба, свет, который освещает всех людей, появляющихся в мир, прекраснейшее свойство нашей природы, то, чем мы отличаемся от животных и что нас делает подобными Богу*. К чему же, спрашиваю я, сводятся эти благочестивые причитания? К молитве дикарей – о!

Все самое разумное, что человеческая мудрость могла сказать о справедливости, заключается в следующем известном изречении: *«Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой; не причиняй другим того, чего ты не хотел бы, чтоб причинили тебе»*.

Но это правило практической морали не имеет никакого практического значения для науки. Что именно я вправе хотеть, чтобы мне причиняли или не причиняли? Мало сказать, что моя обязанность равняется моему праву; надо еще сказать, в чем заключается это право.

Попытаемся же добиться чего-нибудь более точного и положительного.

Справедливость – это центральная звезда, управляющая обществами, ось, вокруг которой вращается весь политический мир, принцип и правило всех договоров. Ничто не совершается в среде людей иначе как на основании *права*; ничто не совершается без обращения к справедливости. Справедливость не является созданием закона: напротив, закон всегда есть провозглашение и применение справедливости во всех обстоятельствах, при которых люди могут находиться в сношениях между собою. Однако если сложившаяся у нас идея справедливости и права будет дурно выражена, если она будет неполна или совсем неправильна, то очевидно, что все наши законодательные применения будут плохи, учреждения несовершенны и политика неправильна, т. е., следовательно, наступит беспорядок и социальное бедствие.

Эта гипотеза о неправильности понятия справедливости в нашем сознании и, следовательно, по необходимости в наших действиях была бы доказанным фактом, если бы взгляды людей на справедливость и ее применение не были постоянными, если бы в различные эпохи они претерпевали изменения, если бы, одним словом, идеи развивались. И вот мы видим, что история доказывает нам это на самых блестящих примерах.

1800 лет тому назад мир под владычеством цезарей погибал в рабстве, суевериях и роскоши. Народ, опьяненный и как бы оглушенный бесконечными вакханалиями, потерял даже понятие о правах и обязанностях; войны и оргии поочередно истощали его. Ростовщичество и труд машин, т. е. рабов, лишая его средств существования, лишали его в то же время возможности размножаться. Отвратительное варварство воскресало из этой ужасающей испорченности и, подобно разъедающей язве, охватывало обезлюдевшие провинции. Мудрецы предвидели конец империи, но не знали средств предотвратить его. Что в самом деле могли бы они выдумать? Для того чтобы спасти это одряхлевшее общество, нужно было бы изменить объекты уважения и преклонения народа, уничтожить права, освященные тысячелетней справедливостью. Тогда говорили: «Рим победил своей политикой и своими богами; всякая реформа культа и народного духа была бы безумием и святотатством. Рим, милосердный к побежденным нациям, налагал на них цепи, щадя их жизнь. Рабы – наиболее обильный источник его богатства. Освобождение народов было бы отрицанием его прав и разорением его финансов. Рим, наконец, погруженный в наслаждения и пресыщенный сокровищами, награбленными со всего мира, пользуется результатами победы и властью. Роскошь и наслаждения являются наградой за его победы. Он не может ни отказаться от них, ни выпустить их из рук». Таким образом, на стороне Рима были и факты и право. Притязания его оправдывались обычаями и международным правом. Идолопоклонство в религии, рабство в государстве, эпикуреизм в частной жизни – таковы были основы учреждений; коснуться их значило бы поколебать общество до самых оснований и, выражаясь современным языком, раскрыть бездну революции. Вот почему эта мысль никому не приходила в голову; а между тем человечество утопало в крови и роскоши.

Вдруг является человек, называющий себя Словом Божиим; и до настоящего времени еще неизвестно, кто он был, откуда явился и кто мог внушить ему его идеи. Он всюду возвещает, что существующему обществу наступит конец, что мир будет обновлен, что священники змеи, адвокаты невежды, философы лицемеры и лжецы, что господин и раб равны, что ростовщичество и все подобное ему – кража, что собственники и люди, ведущие роскошную жизнь, будут ввергнуты в геенну огненную, между тем как люди бедные, чистые сердцем населят места отдохновения. К этому он прибавлял еще много других, не менее необыкновенных вещей.

Этот человек – *Слово Божие* – был по доносу арестован священниками и законниками как враг общества, и священники сумели заставить народ требовать его смерти. Но это юридическое убийство, переполнив чашу их преступлений, не могло заглушить учения, проповедан-

ного *Словом Божиим*. После его смерти первые его последователи разошлись во все стороны, проповедуя то, что он называл благою вестью, создавая миллионы миссионеров, и погибли, выполнив свою задачу, от рук римской юстиции. Эта упорная пропаганда, борьба между палачами и мучениками велась почти триста лет. к концу которых мир оказался обращенным. Идолопоклонство было уничтожено, рабство упразднено, распущенность уступила место более строгим нравам, презрение к богатству доходило подчас до отказа от собственности. Общество было спасено отрицанием его принципов, уничтожением его религии, нарушением наиболее священных прав его; идея справедливости во время этой революции достигла такой широты, какой до тех пор никто еще и не подозревал. Справедливость существовала для одних только господ, теперь она стала существовать и для слуг.

Между тем новая религия вовсе не принесла всех своих плодов. Общественные нравы, правда, несколько улучшились, гнет немного уменьшился, но в общем семя Сына Человеческого, упавшее в языческие сердца, создало только quasi-поэтическую мифологию и бесконечные распри. Вместо того чтобы заняться практическими выводами из принципов морали и власти, провозглашенных *Словом Божиим,* люди занялись догадками о его рождении, о его происхождении, о его личности и поступках. Его притчи комментировались, и из столкновения наиболее странных взглядов на неразрешимые вопросы и на непонятные тексты возникла *теология,* которую можно определить как *науку о бесконечно абсурдном*.

Христианская истина не пережила даже времен апостольских; Евангелие, комментированное и символизованное греками и римлянами, изукрашенное языческими мифами, сделалось в буквальном смысле символом раздора, и вплоть до наших дней царство *непогрешимой церкви* представляло собой не что иное, как бесконечное затемнение. Говорят, что *врата адовы* будут господствовать не всегда, что *Слово Божие* вернется и что тогда люди узнают справедливость и истину. Но тогда и греческая и римская церкви исчезнут, подобно тому как при свете науки исчезают призраки суеверия.

Чудовища, которых последователи апостолов должны были уничтожить, напуганные ненадолго, исчезли, но потом постепенно, благодаря бессмысленному фанатизму, воскресли. Подчас же священники и богословы даже намеренно воскрешали их. История освобождения общин во Франции представляет собою постоянное восстановление справедливости и свободы в народе, вопреки усилиям короля, дворянства и духовенства. В 1789 году после Р.Х. французская нация, разделенная на касты, бедная и угнетенная, билась под тройным гнетом королевского абсолютизма, тирании сеньоров и парламентов и религиозной нетерпимости. Существовало право короля и право священника, право дворянина и право разночинца; существовали привилегии по рождению, привилегии провинциальные, коммунальные, корпоративные и цеховые. И в основе всего этого лежали насилие, безнравственность и нищета. Ходили слухи о реформах; те, кто, по-видимому, наиболее стремился к ним, желали осуществления их только ради собственных выгод. Народ, который должен был больше всего выиграть от них, не ожидал от них ничего особенного и молчал. Долго этот бедный народ не то от подозрительности, не то от недоверия или отчаяния колебался встать на защиту своих прав. Казалось, что привычка к рабству лишила смелости эти старинные коммуны, такие гордые в средние века.

Но наконец появилась книга, все содержание которой резюмировалось в следующих двух предложениях: *«Что такое третье сословие?» – «Ничто». – «Чем оно должно быть?» – «Всем»*. Кто-то прибавил в форме комментария: *«Что такое король?» – «Уполномоченный народа»*.

Это было внезапным откровением: разорвалась великая завеса, с глаз народа спала густая пелена, народ стал рассуждать:

Если король – наш уполномоченный, он должен отдавать нам отчет.

Если он должен отдавать нам отчет, он, следовательно, подлежит контролю.

Если он подлежит контролю, то он ответствен.

Если он ответствен, то и наказуем.

Если он наказуем, то наказуем по своим заслугам.

Если же он наказуем по своим заслугам, то может быть приговорен и к смерти.

Пять лет спустя после выхода в свет брошюры Сиейеса третье сословие сделалось всем. Король, дворянство, духовенство перестали существовать. В 1793 году народ, не подчиняясь конституционной фикции о неприкосновенности суверена, возвел Людовика XVI на эшафот; в 1830-м он проводил Карла X в Шербург. В том и в другом случае он мог ошибиться в оценке преступления, это было бы фактической ошибкой, но в смысле правовом логика его поступков была безукоризненна. Народ, наказывая суверена, делал именно то, в упущении чего так часто упрекали июльское правительство, которое после попытки восстания в Страсбурге не сделало того же с Людовиком Бонапартом: народ наказал истинного виновника. Это было применение обычного права, торжественное провозглашение справедливости в наказания.

Дух, вызвавший движение 1789 года, был дух противоречия. Этого достаточно для того, чтобы показать, что порядок вещей, заменивший старый порядок, был не методичен и не обдуман, что, рожденный из ненависти и гнева, он не мог подействовать как наука, основанная на наблюдениях и исследованиях, что, одним словом, основы этого порядка не были выведены из глубокого знакомства с законами природы и общества. Поэтому в так называемых новых учреждениях, созданных республикой, мы находим те же самые принципы, против которых она боролась, влияние тех же самых предрассудков, которые она хотела уничтожить. Люди с легкомысленным восторгом говорят о славной французской революции, о возрождении 1789 года, о великих реформах и об изменении учреждений. Все это только ложь!

Когда, вследствие сделанных нами наблюдений, наши понятия о каком-нибудь физическом, интеллектуальном или социальном явлении меняются коренным образом, я это уже называю движением *революционного* духа. Когда налицо имеется только изменение или расширение наших идей, то я это называю *прогрессом*. Так, например, система Птолемея была прогрессом в астрономии, открытие Коперника – революцией. Так же точно в 1789 году совершалась борьба и прогресс, но революции не было; это можно доказать путем рассмотрения реформ, которые пытались провести тогда.

Народ, бывший долгое время жертвой монархического эгоизма, думал избавиться от него, заявив, что он один суверенен. Но что такое монархия? Это суверенность одного человека. Что такое демократия? Суверенность народа или, вернее, большинства народа. И в том и в другом случае это суверенность человека вместо суверенности закона, суверенность воли вместо суверенности разума, – словом, суверенность страстей вместо суверенности права. Несомненно, когда народ переходит от монархизма к демократизму, совершается прогресс, ибо, устраняя единоличного суверена, люди увеличивают шансы разума победить волю. Однако революции в управлении нет, так как принцип остается прежний. Мы теперь имеем самые ясные доказательства того, что даже при самой совершенной демократии можно не быть свободным.

Это еще не все. Народ-король не может сам обнаруживать своей суверенности. Он должен передать ее лицам, облеченным властью. Это усердно повторяют ему те, кто старается попасть к нему в милость. Пусть таких лиц будет 5, 10, 100, 1000, – ни число их, ни имена не имеют значения. Всегда это будет правление человека, царство воли и произвола. Что же, спрашивается, революционизировала так называемая революция?

Известно, впрочем, как эта суверенность проявлялась сначала Конвентом, затем Директорией и наконец Консульством. Император, человек сильный, столь обожаемый и столь оплакиваемый народом, никогда не хотел подчиняться его суверенности. Но как бы намереваясь бравировать ею, он осмелился прибегнуть к голосованию народа, т. е. потребовать от него отречения, отречения от этой самой неприкосновенной суверенности. И он достиг этого.

Но что же, наконец, такое суверенность? Это, говорят, есть *власть издавать законы*. Вот вам новый абсурд, позаимствованный у деспотизма. Народ видел, как короли мотивировали свои ордонансы – формулой: *ибо так нам угодно*. Он в свою очередь захотел испытать удовольствие издавать законы. В течение пятидесяти лет он создал их мириады, всегда, конечно, при посредстве своих представителей; удовольствие это до сих пор еще не кончилось.

Впрочем, определение суверенности само собой вытекает из определения закона. Закон, говорят, есть *выражение воли суверена*. Таким образом, при монархии закон есть выражение воли короля; в республике – выражение воли народа. Если оставить в стороне число воль, то обе эти системы окажутся совершенно идентичными: и в том и в другом случае одинаково существует заблуждение, так как считают закон выражением воли, тогда как он есть выражение факта. Между тем руководители были хороши, ибо пророком явился женевский гражданин, а Алькораном – его «Общественный договор».

Предрассудки и предубеждения на каждом шагу обнаруживаются под риторикой новых законодателей. Народ страдал от множества исключений и привилегий; его представители сделали от его лица следующее заявление: *«Все люди равны от природы и перед законом»*; заявление это двусмысленное и чересчур многословное. *Люди равны от природы,* значит ли это, что все они одинакового роста, одинаково красивы, одинаково гениальны и добродетельны? Нет, имелось, следовательно, в виду определить политическое и гражданское равноправие; но в таком случае было бы достаточно сказать: *«Все люди равны перед законом»*.

Но что такое равенство перед законом? Ни конституция 1790 года, ни конституция 1793-го, ни дарованная хартия, ни хартия принятая не сумели дать его определения. И та и другая хартии предполагают существование неравенства имущественного и сословного, наряду с которым невозможна даже и тень равенства прав. С этой точки зрения можно сказать, что все наши конституции были верным выражением народной воли. И я это докажу.

Когда-то народ не имел доступа к гражданским и военным должностям. Вставляя в «Декларацию прав» громкую фразу: «Все граждане имеют одинаковый доступ к должностям; свободные народы при выборах не знают другой причины предпочтения, кроме добродетели и талантов», думали совершить чудо.

Такою прекрасною вещью, конечно, должны были восторгаться, и при этом восторгались глупостью. Как! Народ, суверен, законодатель и реформатор, видит в общественных должностях только награду или, будем выражаться прямо, подачку. И он издает постановление о доступности должностей всем гражданам, потому что считает эти должности источником выгоды. Иначе к чему бы служили предосторожности, если бы не представлялось выгоды? Ведь не издают же постановлений, что человек, не знакомый с географией и астрономией, не может быть капитаном корабля, и не запрещают же заике играть в трагедии или петь в опере. И в данном случае народ тоже подражал королю, он тоже хотел располагать прибыльными местечками в интересах своих друзей и льстецов. К несчастью – и эта последняя черта только дополняет сходство, – не сам народ держал в руках бенефиции; ими распоряжались его уполномоченные и представители, и они нисколько не заботились о том, чтобы сообразоваться с волей своего доверчивого суверена.

Этот поучительный параграф декларации прав, сохранившийся в хартиях 1814 и 1830 годов, предполагает несколько видов гражданского неравенства, т. е., иными словами, неравенства перед законом: неравенство рангов, так как общественные должности являются предметом вожделений только благодаря почету и жалованью, которые они приносят; неравенство имущественное, ибо если бы хотели, чтобы имущества были равны, то общественные должности были бы обязанностью, а не наградой; неравенство в льготах, так как закон не определяет, что подразумевается под *талантами* и *добродетелями*. При империи талантом и добродетелью считались только военные доблести и преданность императору. Это обнаружилось, когда Наполеон создал свое дворянство и попытался слить его со старинным. В настоящее

время человек, который платит 200 франков налогов, – добродетелен; порядочным человеком считается тот, кто ловко ворует, – отныне это истина общепризнанная.

Народ наконец санкционировал собственность… Да простит ему Бог, ибо он не знал, что творил. Вот уже пятьдесят лет, как он старается исправить ужасную ошибку. Может быть, спросят: каким образом народ, глас которого есть глас Божий, совесть которого должна быть непогрешимой, мог ошибиться; каким образом он, стремясь к свободе и равенству, вернулся к привилегиям и рабству? Опять-таки из подражания старому порядку.

Некогда дворянство и духовенство принимали участие в платеже налогов только добровольными пожертвованиями и добровольной помощью. Их имущество было неотчуждаемо даже за долги, между тем как мещанин, обремененный налогами и повинностями, безустанно терзался либо сборщиками короля, либо сборщиками дворянства и духовенства. Крепостной, низведенный до положения вещи, не мог ни получать что-либо по наследству, ни оставлять. Он был в положении животного, силы и потомство которого принадлежат хозяину. Народ хотел, чтобы положение собственника было доступно всем, чтобы каждый мог *свободно пользоваться и распоряжаться своим имуществом, своими доходами, плодами своего труда и промысла*. Народ не выдумал собственности, но, не имея на нее таких же прав, какие имели дворяне и духовенство, декретировал равенство прав. Жестокие формы собственности, барщина, лишение права наследования, ограничение права быть мастером, привилегии на занятие должностей исчезли; форма пользования изменилась, сущность же осталась та же самая. Совершился прогресс в распределении прав, но революции в этой области не было.

Движение 1789 и 1830 годов санкционировало, следовательно, три основных принципа современного общества: 1. *Суверенность воли человека* или, выражаясь более кратко, *деспотизм*. 2. *Неравенство имущества* и *состояний*. 3. *Собственность,* и превыше всего этого *справедливость,* всегда и всеми призываемую как гений хранитель суверенов, благородных и собственников, справедливость – общий, основной, категорический закон всякого общества.

Требуется узнать, соответствуют или не соответствуют основному понятию справедливости понятия деспотизма, гражданского и имущественного неравенства; представляют ли они необходимый вывод из него, обнаруживающийся в различных формах сообразно месту, обстоятельствам и личным отношениям, или не представляют ли они, наоборот, незаконный продукт смешения различных понятий, роковой ассоциации идей. А так как справедливость выражается главным образом в форме правительства, в состоянии людей и в обладании вещами, то нужно, сообразно прогрессу человеческого духа и воле всех людей, исследовать, при каких условиях справедливо правительство, при каких условиях справедливо состояние граждан и обладание вещами. Затем, исключив все, что не удовлетворяет этим условиям, мы получим результат, который покажет нам одновременно, каким должно быть законное правительство, каким законное состояние граждан и законное обладание вещами и, наконец, какой должна быть справедливость.

Справедлива ли власть человека над человеком?

Весь свет ответит: нет. Власть человека есть только власть закона, который должен быть справедливостью и истиной. Личная воля не имеет значения в управлении, которое сводится к тому, чтобы, с одной стороны, раскрывать истинное и справедливое и создавать из него закон, а с другой стороны, наблюдать за выполнением этого закона. В данный момент я не рассматриваю вопрос, удовлетворяет ли наше конституционное правительство этим условиям? Не вмешивается ли, например, иногда воля министров в издание и толкование законов? Не заботятся ли наши депутаты во время своих дебатов больше о победе количеством, нежели о победе разумом. Мне достаточно, чтобы признанное понятие о хорошем правительстве было согласно с моим определением. Это понятие вполне точное. Между тем мы видим, что восточные народы считают вполне справедливым деспотизм своего суверена, что у древних и даже у самих философов древности рабство считалось справедливым, что в средние века дворяне,

аббаты и епископы считали справедливым иметь крепостных, что Людовик XIV считал себя правым, говоря: *государство – это я,* что Наполеон считал неповиновение своей воле государственным преступлением. Следовательно, понятие о справедливом, в применении к суверену и к правительству, не всегда равнялось современному понятию справедливости. Оно непрестанно развивалось и все более определялось и наконец достигло той формы, которую оно имеет теперь. Но достигло ли оно своего последнего фазиса? Я этого не думаю. А так как последнее препятствие, которое ему осталось преодолеть, заключается лишь в институте собственности, который мы сохранили, то для того, чтобы закончить реформу правительства, а также и революцию, мы должны уничтожить именно этот институт.

Справедливо ли политическое и гражданское неравенство?

Одни отвечают: да, другие: нет. Первым я напомню, что когда народ уничтожил все привилегии, связанные с происхождением и с принадлежностью к касте, то им казалось, что это хорошо, вероятно, потому, что они выиграли от этого. Почему же они не хотят, чтобы привилегии, доставляемые богатством, исчезли так же, как и привилегии сословные и национальные? Они утверждают, что политическое неравенство неразрывно связано с собственностью и что без собственности никакое общество невозможно. Таким образом, поставленный нами вопрос разрешается вместе с вопросом о собственности. Вторым же я скажу только следующее: если вы хотите пользоваться политическим равенством, то уничтожьте собственность, в противном случае вы не вправе жаловаться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.